Рудин

Автор:
Иван Тургенев

Рудин

Иван Сергеевич Тургенев

«Рудин». Один из лучших романов Тургенева.

Одна из сильнейших за всю историю отечественной прозы книг о трагедии русского интеллигента, не способного на решительный поступок и буквально губящего и себя, и близких бесконечной, мучительной бездеятельностью.

Роман необычайно талантливый и до сих пор необычайно актуальный.

Иван Сергеевич Тургенев

Рудин

I

Было тихое летнее утро. Солнце уже довольно высоко стояло на чистом небе; но поля еще блестели росой, из недавно проснувшихся долин веяло душистой свежестью, и в лесу, еще сыром и не шумном, весело распевали ранние птички. На вершине пологого холма, сверху донизу покрытого только что зацветшею рожью, виднелась небольшая деревенька. К этой деревеньке, по узкой проселочной дорожке, шла молодая женщина, в белом кисейном платье, круглой соломенной шляпе и с зонтиком в руке. Казачок издали следовал за ней.

Она шла не торопясь и как бы наслаждаясь прогулкой. Кругом, по высокой, зыбкой ржи, переливаясь то серебристо-зеленой, то красноватой рябью, с мягким шелестом бежали длинные волны; в вышине звенели жаворонки. Молодая женщина шла из собственного своего села, отстоявшего не более версты от деревеньки, куда она направляла путь; звали ее Александрой Павловной Липиной. Она была вдова, бездетна и довольно богата, жила вместе с своим братом, отставным штаб-ротмистром Сергеем Павлычем Волынцевым. Он не был женат и распоряжался ее имением.

Александра Павловна дошла до деревеньки, остановилась у крайней избушки, весьма ветхой и низкой, и, подозвав своего казачка, велела ему войти в нее и спросить о здоровье хозяйки. Он скоро вернулся в сопровождении дряхлого мужика с белой бородой.

– Ну, что? – спросила Александра Павловна.

– Жива еще… – проговорил старик.

– Можно войти?

– Отчего же? можно.

Александра Павловна вошла в избу. В ней было и тесно, и душно, и дымно… Кто-то закопошился и застонал на лежанке. Александра Павловна оглянулась и увидела в полумраке желтую и сморщенную голову старушки, повязанной клетчатым платком. Покрытая по самую грудь тяжелым армяком, она дышала с трудом, слабо разводя худыми руками.

Александра Павловна приблизилась к старушке и прикоснулась пальцами до ее лба… Он так и пылал.

– Как ты себя чувствуешь, Матрена? – спросила она, наклонившись над лежанкой.

– О-ох! – простонала старушка, всмотревшись в Александру Павловну. – Плохо, плохо, родная! Смертный часик пришел, голубушка!

– Бог милостив, Матрена: может быть, ты поправишься. Ты приняла лекарство, которое я тебе прислала?

Старушка тоскливо заохала и не отвечала. Она не расслышала вопроса.

– Приняла, – проговорил старик, остановившийся у двери.

Александра Павловна обратилась к нему.

– Кроме тебя, при ней никого нет? – спросила она.

– Есть девочка – ее внучка, да все вот отлучается. Не посидит: такая егозливая. Воды подать испить бабке – и то лень. А я сам стар: куда мне?

– Не перевезти ли ее ко мне в больницу?

– Нет! зачем в больницу! все одно помирать-то. Пожила довольно; видно, уж так Богу угодно. С лежанки не сходит. Где ж ей в больницу! Ее станут поднимать, она и помрет.

– Ох, – застонала больная, – красавица барыня, сироточку-то мою не оставь; наши господа далеко, а ты…

Старушка умолкла. Она говорила через силу.

– Не беспокойся, – промолвила Александра Павловна, – все будет сделано. Вот я тебе чаю и сахару принесла. Если захочется, выпей… Ведь самовар у вас есть? – прибавила она, взглянув на старика.

– Самовар-то? Самовара у нас нету, а достать можно.

– Так достань, а то я пришлю свой. Да прикажи внучке, чтобы она не отлучалась. Скажи ей, что это стыдно.

Старик ничего не отвечал, а сверток с чаем и сахаром взял в обе руки.

– Ну, прощай, Матрена! – проговорила Александра Павловна, – я к тебе еще приду, а ты не унывай и лекарство принимай аккуратно…

Старуха приподняла голову и потянулась к Александре Павловне.

– Дай, барыня, ручку, – пролепетала она.

Александра Павловна не дала ей руки, нагнулась и поцеловала ее в лоб.

– Смотри же, – сказала она, уходя, старику, – лекарство ей давайте непременно, как написано… И чаем ее напойте…

Старик опять ничего не отвечал и только поклонился.

Свободно вздохнула Александра Павловна, очутившись на свежем воздухе. Она раскрыла зонтик и хотела было идти домой, как вдруг из-за угла избушки выехал, на низеньких беговых дрожках, человек лет тридцати, в старом пальто из серой коломянки и такой же фуражке. Увидев Александру Павловну, он тотчас остановил лошадь и обернулся к ней лицом. Широкое, без румянца, с небольшими бледно-серыми глазками и белесоватыми усами, оно подходило под цвет его одежды.

– Здравствуйте, – проговорил он с ленивой усмешкой, – что это вы тут такое делаете, позвольте узнать?

– Я навещала больную… А вы откуда, Михайло Михайлыч?

Человек, называвшийся Михайло Михайлычем, посмотрел ей в глаза и опять усмехнулся.

– Это вы хорошо делаете, – продолжал он, – что больную навещаете; только не лучше ли вам ее в больницу перевезти?

– Она слишком слаба: ее нельзя тронуть.

– А больницу свою вы не намерены уничтожить?

– Уничтожить? зачем?

– Да так.

– Что за странная мысль! С чего это вам в голову пришло?

– Да вы вот с Ласунской всё знаетесь и, кажется, находитесь под ее влиянием. А по ее словам, больницы, училища – это все пустяки, ненужные выдумки. Благотворение должно быть личное, просвещение тоже: это все дело души… так, кажется, она выражается. С чьего это голоса она поет, желал бы я знать?

Александра Павловна засмеялась.

– Дарья Михайловна умная женщина, я ее очень люблю и уважаю; но и она может ошибаться, и я не каждому ее слову верю.

– И прекрасно делаете, – возразил Михайло Михайлыч, все не слезая с дрожек, – потому что она сама словам своим плохо верит. А я очень рад, что встретил вас.

– А что?

– Хорош вопрос! Как будто не всегда приятно вас встретить! Сегодня вы так же свежи и милы, как это утро.

Александра Павловна опять засмеялась.

– Чему же вы смеетесь?

– Как чему? Если б вы могли видеть, с какой вялой и холодной миной вы произнесли ваш комплимент! Удивляюсь, как вы не зевнули на последнем слове.

– С холодной миной… Вам все огня нужно; а огонь никуда не годится. Вспыхнет, надымит и погаснет.

– И согреет, – подхватила Александра Павловна.

– Да… и обожжет.

– Ну, что ж, что обожжет! И это не беда. Все же лучше, чем…

– А вот я посмотрю, то ли вы заговорите, когда хоть раз хорошенько обожжетесь, – перебил ее с досадой Михайло Михайлыч и хлопнул вожжой по лошади. – Прощайте!

– Михайло Михайлыч, постойте! – закричала Александра Павловна, – когда вы у нас будете?

– Завтра; поклонитесь вашему брату.

И дрожки покатились.

Александра Павловна посмотрела вслед Михайлу Михайловичу.

«Какой мешок!» – подумала она. Сгорбленный, запыленный, с фуражкой на затылке, из-под которой беспорядочно торчали косицы желтых волос, он действительно походил на большой мучной мешок.

Александра Павловна отправилась тихонько назад по дороге домой. Она шла с опущенными глазами. Близкий топот лошади заставил ее остановиться и поднять голову… Ей навстречу ехал ее брат верхом; рядом с ним шел молодой человек небольшого роста, в легоньком сюртучке нараспашку, легоньком галстучке и легонькой серой шляпе, с тросточкой в руке. Он уже давно улыбался Александре Павловне, хотя и видел, что она шла в раздумье, ничего не замечая, а как только она остановилась, подошел к ней и радостно, почти нежно произнес:

– Здравствуйте, Александра Павловна, здравствуйте!

– А! Константин Диомидыч! здравствуйте! – ответила она. – Вы от Дарьи Михайловны?

– Точно так-с, точно так-с, – подхватил с сияющим лицом молодой человек, – от Дарьи Михайловны. Дарья Михайловна послала меня к вам-с; я предпочел идти

пешком… Утро такое чудесное, всего четыре версты расстояния. Я прихожу – вас дома нет-с. Мне ваш братец говорит, что вы пошли в Семеновку, и сами собираются в поле; я вот с ними и пошел-с, к вам навстречу. Да-с. Как это приятно!

Молодой человек говорил по-русски чисто и правильно, но с иностранным произношением, хотя трудно было определить, с каким именно. В чертах лица его было нечто азиатское. Длинный нос с горбиной, большие неподвижные глаза навыкате, крупные красные губы, покатый лоб, черные как смоль волосы – все в нем изобличало восточное происхождение; но молодой человек именовался по фамилии Пандалевским и называл своею родиной Одессу, хотя и воспитывался где-то в Белоруссии, на счет благодетельной и богатой вдовы. Другая вдова определила его на службу. Вообще дамы средних лет охотно покровительствовали Константину Диомидычу: он умел искать, умел находить в них. Он и теперь жил у богатой помещицы, Дарьи Михайловны Ласунской, в качестве приемыша или нахлебника. Он был весьма ласков, услужлив, чувствителен и втайне сластолюбив, обладал приятным голосом, порядочно играл на фортепьяно и имел привычку, когда говорил с кем-нибудь, так и впиваться в него глазами. Он одевался очень чистенько и платье носил чрезвычайно долго, тщательно выбривал свой широкий подбородок и причесывал волосок к волоску.

Александра Павловна выслушала его речь до конца и обратилась к брату:

– Сегодня мне всё встречи: сейчас я разговаривала с Лежневым.

– А, с ним! Он ехал куда-нибудь?

– Да; и вообрази, на беговых дрожках, в каком-то полотняном мешке, весь в пыли… Какой он чудак!

– Да, быть может; только он славный человек.

– Кто это? Г-н Лежнев? – спросил Пандалевский, как бы удивясь.

– Да, Михайло Михайлыч Лежнев, – возразил Волынцев. – Однако прощай, сестра: мне пора ехать в поле; у тебя гречиху сеют. Г-н Пандалевский тебя проведет домой…

И Волынцев пустил лошадь рысью.

– С величайшим удовольствием! – воскликнул Константин Диомидыч и предложил Александре Павловне руку.

Она подала ему свою, и оба отправились по дороге в ее усадьбу.

Вести под руку Александру Павловну доставляло, по-видимому, большое удовольствие Константину Диомидычу; он выступал маленькими шагами, улыбался, а восточные глаза его даже покрылись влагой, что, впрочем, с ними случалось нередко: Константину Диомидычу ничего не стоило умилиться и пролить слезу. И кому бы не было приятно вести под руку хорошенькую женщину, молодую и стройную? Об Александре Павловне вся…ая губерния единогласно говорила, что она прелесть, и…ая губерния не ошибалась. Один ее прямой, чуть-чуть вздернутый носик мог свести с ума любого смертного, не говоря уже о ее бархатных карих глазах, золотисто-русых волосах, ямках на круглых щечках и других красотах. Но лучше всего в ней было выражение ее миловидного лица: доверчивое, добродушное и кроткое, оно и трогало, и привлекало. Александра Павловна глядела и смеялась, как ребенок; барыни находили ее простенькой… Можно ли было чего-нибудь еще желать?

– Вас Дарья Михайловна ко мне прислала, говорите вы? – спросила она Пандалевского.

– Да-с, прислала-с, – отвечал он, выговаривая букву «с», как английское «th», – оне непременно желают и велели вас убедительно просить, чтобы вы пожаловали сегодня к ним обедать… Оне (Пандалевский, когда говорил о третьем лице, особенно о даме, строго придерживался множественного числа) – оне ждут к себе нового гостя, с которым непременно желают вас познакомить.

– Кто это?

– Некто Муффель, барон, камер-юнкер из Петербурга. Дарья Михайловна недавно с ним познакомились у князя Гарина и с большой похвалой о нем отзываются, как о любезном и образованном молодом человеке. Г-н барон занимаются также литературой, или, лучше сказать… ах, какая прелестная

бабочка! извольте обратить ваше внимание… лучше сказать, политической экономией. Он написал статью о каком-то очень интересном вопросе – и желает подвергнуть ее на суд Дарье Михайловне.

– Политико-экономическую статью?

– С точки зрения языка-с, Александра Павловна, с точки зрения языка-с. Вам, я думаю, известно, что и в этом Дарья Михайловна знаток-с. Жуковский с ними советовался, а благодетель мой, проживающий в Одессе благопотребный старец Роксолан Медиарович Ксандрыка… Вам, наверное, известно имя этой особы?

– Нисколько, и не слыхивала.

– Не слыхивали о таком муже? Удивительно! Я хотел сказать, что Роксолан Медиарович очень был всегда высокого мнения о познаниях Дарьи Михайловны в российском языке.

– А не педант этот барон? – спросила Александра Павловна.

– Никак нет-с; Дарья Михайловна рассказывают, что, напротив, светский человек в нем сейчас виден. О Бетховене говорил с таким красноречием, что даже старый князь почувствовал восторг… Это я, признаюсь, послушал бы: ведь это по моей части. Позвольте вам предложить этот прекрасный полевой цветок.

Александра Павловна взяла цветок и, пройдя несколько шагов, уронила его на дорогу… До дому ее оставалось шагов двести, не более. Недавно выстроенный и выбеленный, он приветливо выглядывал своими широкими светлыми окнами из густой зелени старинных лип и кленов.

– Так как же-с прикажете доложить Дарье Михайловне, – заговорил Пандалевский, слегка обиженный участью поднесенного им цветка, – пожалуете вы к обеду? Оне и братца вашего просят.

– Да, мы приедем, непременно. А что Наташа?

– Наталья Алексеевна, слава Богу, здоровы-с… Но мы уже прошли поворот к именью Дарьи Михайловны. Позвольте мне раскланяться.

Александра Павловна остановилась.

– А вы разве не зайдете к нам? – спросила она нерешительным голосом.

– Душевно бы желал-с, но боюсь опоздать. Дарье Михайловне угодно послушать новый этюд Тальберга: так надо приготовиться и подучить. Притом я, признаюсь, сомневаюсь, чтобы моя беседа могла доставить вам какое-нибудь удовольствие.

– Да нет… почему же…

Пандалевский вздохнул и выразительно опустил глаза.

– До свидания, Александра Павловна! – проговорил он, помолчав немного, поклонился и отступил шаг назад.

Александра Павловна повернулась и пошла домой.

Константин Диомидыч также пустился восвояси. С лица его тотчас исчезла вся сладость: самоуверенное, почти суровое выражение появилось на нем. Даже походка Константина Диомидыча изменилась; он теперь и шагал шире и наступал тяжелее. Он прошел версты две, развязно помахивая палочкой, и вдруг опять осклабился: он увидел возле дороги молодую, довольно смазливую крестьянскую девушку, которая выгоняла телят из овса. Константин Диомидыч осторожно, как кот, подошел к девушке и заговорил с ней. Та сперва молчала, краснела и посмеивалась, наконец закрыла губы рукавом, отворотилась и промолвила:

– Ступай, барин, право…

Константин Диомидыч погрозил ей пальцем и велел ей принести себе васильков.

– На что тебе васильков? венки, что ль, плесть? – возразила девушка, – да ну, ступай же, право…

– Послушай, моя любезная красоточка… – начал было Константин Диомидыч.

– Да ну, ступай, – перебила его девушка, – баричи вон идут.

Константин Диомидыч оглянулся. Действительно, по дороге бежали Ваня и Петя, сыновья Дарьи Михайловны; за ними шел их учитель, Басистов, молодой человек двадцати двух лет, только что окончивший курс. Басистов был рослый малый, с простым лицом, большим носом, крупными губами и свиными глазками, некрасивый и неловкий, но добрый, честный и прямой. Он одевался небрежно, не стриг волос, – не из щегольства, а от лени; любил поесть, любил поспать, но любил также хорошую книгу, горячую беседу и всей душой ненавидел Пандалевского.

Дети Дарьи Михайловны обожали Басистова и уж нисколько его не боялись; со всеми остальными в доме он был на короткой ноге, что не совсем нравилось хозяйке, как она ни толковала о том, что для нее предрассудков не существует.

– Здравствуйте, мои миленькие! – заговорил Константин Диомидыч, – как вы рано сегодня гулять пошли! А я, – прибавил он, обращаясь к Басистову, – уже давно вышел; моя страсть – наслаждаться природой.

– Видели мы, как вы наслаждаетесь природой, – пробормотал Басистов.

– Вы материалист: уже сейчас бог знает что думаете. Я вас знаю.

Пандалевский, когда говорил с Басистовым или подобными ему людьми, легко раздражался и букву «с» произносил чисто, даже с маленьким свистом.

– Что же, вы у этой девки небось дорогу спрашивали? – проговорил Басистов, поводя глазами и вправо и влево.

Он чувствовал, что Пандалевский глядит ему прямо в лицо, а это ему было крайне неприятно.

– Я повторяю: вы материалист и больше ничего. Вы непременно желаете во всем видеть одну прозаическую сторону…

– Дети! – скомандовал вдруг Басистов, – видите вы на лугу ракиту; посмотрим, кто скорее до нее добежит… Раз! два! три!

И дети бросились во все ноги к раките. Басистов устремился за ними.

«Мужик! – подумал Пандалевский, – испортит он этих мальчишек… Совершенный мужик!»

И, с самодовольствием окинув взглядом свою собственную опрятную и изящную фигурку, Константин Диомидыч ударил раза два растопыренными пальцами по рукаву сюртука, встряхнул воротником и отправился далее. Вернувшись к себе в комнату, он надел старенький халат и с озабоченным лицом сел за фортепьяно.

II

Дом Дарьи Михайловны Ласунской считался чуть ли не первым по всей…ой губернии. Огромный, каменный, сооруженный по рисункам Растрелли, во вкусе прошедшего столетия, он величественно возвышался на вершине холма, у подошвы которого протекала одна из главных рек средней России. Сама Дарья Михайловна была знатная и богатая барыня, вдова тайного советника. Хотя Пандалевский и рассказывал про нее, что она знает всю Европу, да и Европа ее знает! – однако Европа ее знала мало, даже в Петербурге она важной роли не играла; зато в Москве ее все знали и ездили к ней. Она принадлежала к высшему свету и слыла за женщину несколько странную, не совсем добрую, но чрезвычайно умную. В молодости она была очень хороша собою. Поэты писали ей стихи, молодые люди в нее влюблялись, важные господа волочились за ней. Но с тех пор прошло лет двадцать пять или тридцать, и прежних прелестей не осталось и следа. «Неужели, – спрашивал себя невольно всякий, кто только видел ее в первый раз, – неужели эта худенькая, желтенькая, востроносая и еще не старая женщина была когда-то красавицей? Неужели это она, та самая, о которой бряцали лиры?..» И всякий внутренно удивлялся переменчивости всего земного. Правда, Пандалевский находил, что у Дарьи Михайловны удивительно сохранились ее великолепные глаза; но ведь тот же Пандалевский утверждал, что ее вся Европа знает.

Дарья Михайловна приезжала каждое лето к себе в деревню с своими детьми (у нее их было трое: дочь Наталья, семнадцати лет, и два сына, десяти и девяти лет) и жила открыто, то есть принимала мужчин, особенно холостых; провинциальных барынь она терпеть не могла. Зато и доставалось же ей от этих

барынь! Дарья Михайловна, по их словам, была и горда, и безнравственна, и тиранка страшная; а главное – она позволяла себе такие вольности в разговоре, что ужасти! Дарья Михайловна действительно не любила стеснять себя в деревне, и в свободной простоте ее обхождения замечался легкий оттенок презрения столичной львицы к окружавшим ее, довольно темным и мелким существам… Она и с городскими знакомыми обходилась очень развязно, даже насмешливо; но оттенка презрения не было.

Кстати, читатель, заметили ли вы, что человек, необыкновенно рассеянный в кружке подчиненных, никогда не бывает рассеян с лицами высшими? Отчего бы это? Впрочем, подобные вопросы ни к чему не ведут.

Когда Константин Диомидыч, вытвердив наконец тальберговский этюд, спустился из своей чистой и веселенькой комнаты в гостиную, он уже застал все домашнее общество собранным. Салон уже начался. На широкой кушетке, подобрав под себя ноги и вертя в руках новую французскую брошюру, расположилась хозяйка; у окна за пяльцами сидели: с одной стороны дочь Дарьи Михайловны, а с другой m-lle Boncourt[1 - м-ль Бонкур (фр.).] – гувернантка, старая и сухая дева лет шестидесяти, с накладкой черных волос под разноцветным чепцом и хлопчатой бумагой в ушах; в углу, возле двери, поместился Басистов и читал газету, подле него Петя и Ваня играли в шашки, а прислонясь к печке и заложив руки за спину, стоял господин небольшого роста, взъерошенный и седой, с смуглым лицом и беглыми черными глазками – некто Африкан Семеныч Пигасов.

Странный человек был этот господин Пигасов. Озлобленный противу всего и всех – особенно против женщин, – он бранился с утра до вечера, иногда очень метко, иногда довольно тупо, но всегда с наслаждением. Раздражительность его доходила до ребячества; его смех, звук его голоса, все его существо казалось пропитанным желчью. Дарья Михайловна охотно принимала Пигасова: он потешал ее своими выходками. Они, точно, были довольно забавны. Все преувеличивать было его страстью. Например: о каком бы несчастье при нем ни говорили – рассказывали ли ему, что громом зажгло деревню, что вода прорвала мельницу, что мужик себе топором руку отрубил, – он всякий раз с сосредоточенным ожесточением спрашивал: «А как ее зовут?» – то есть как зовут женщину, от которой произошло то несчастие, потому что, по его уверениям, всякому несчастию причиной женщина, стоит только хорошенько вникнуть в дело. Он однажды бросился на колени перед почти незнакомой ему барыней, которая приставала к нему с угощением, и начал слезно, но с

написанной на лице яростью умолять ее, чтобы она его пощадила, что он ничем перед ней не провинился и вперед у ней никогда не будет. Раз лошадь помчала под гору одну из прачек Дарьи Михайловны, опрокинула ее в ров и чуть не убила. Пигасов с тех пор иначе не называл эту лошадь, как добрый, добрый конек, а самую гору и ров находил чрезвычайно живописными местами. Пигасову в жизни не повезло – он эту дурь и напустил на себя. Он происходил от бедных родителей. Отец его занимал разные мелкие должности, едва знал грамоте и не заботился о воспитании сына; кормил, одевал его – и только. Мать его баловала, но скоро умерла. Пигасов сам себя воспитывал, сам определил себя в уездное училище, потом в гимназию, выучился языкам, французскому, немецкому и даже латинскому, и, выйдя из гимназии с отличным аттестатом, отправился в Дерпт, где постоянно боролся с нуждою, но выдержал трехгодичный курс до конца. Способности Пигасова не выходили из разряда обыкновенных; терпением и настойчивостью он отличался, но особенно сильно было в нем чувство честолюбия, желание попасть в хорошее общество, не отстать от других, назло судьбе. Он и учился прилежно и в Дерптский университет поступил из честолюбия. Бедность сердила его и развила в нем наблюдательность и лукавство. Он выражался своеобразно; он смолоду присвоил себе особый род желчного и раздражительного красноречия. Мысли его не возвышались над общим уровнем; а говорил он так, что мог казаться не только умным, но даже очень умным человеком. Получив степень кандидата, Пигасов решился посвятить себя ученому званию: он понял, что на всяком другом поприще он бы никак не мог угнаться за своими товарищами (он старался выбирать их из высшего круга и умел к ним подделаться, даже льстил им, хотя все ругался). Но тут в нем, говоря попросту, материала не хватило. Самоучка не из любви к науке, Пигасов в сущности знал слишком мало. Он жестоко провалился в диспуте, между тем как живший с ним в одной комнате другой студент, над которым он постоянно смеялся, человек весьма ограниченный, но получивший правильное и прочное воспитание, восторжествовал вполне. Неудача эта взбесила Пигасова: он бросил в огонь все свои книги и тетради и поступил на службу. Сначала дело пошло недурно: чиновник он был хоть куда, не очень распорядительный, зато крайне самоуверенный и бойкий; но ему захотелось поскорее выскочить в люди – он запутался, споткнулся и принужден был выйти в отставку. Года три просидел он у себя в благоприобретенной деревеньке и вдруг женился на богатой, полуобразованной помещице, которую поймал на удочку своих развязных и насмешливых манер. Но нрав Пигасова уже слишком раздражился и окис; он тяготился семейной жизнью… Жена его, пожив с ним несколько лет, уехала тайком в Москву и продала какому-то ловкому аферисту свое имение, а Пигасов только что построил в нем усадьбу. Потрясенный до основания этим последним ударом, Пигасов затеял было тяжбу с женою, но

ничего не выиграл… Он доживал свой век одиноко, разъезжал по соседям, которых бранил за глаза и даже в глаза и которые принимали его с каким-то напряженным полухохотом, хотя серьезного страха он им не внушал, – и никогда книги в руки не брал. У него было около ста душ; мужики его не бедствовали.

– А! Constantin! – проговорила Дарья Михайловна, как только Пандалевский вошел в гостиную, – Alexandrine будет?

– Александра Павловна велели вас благодарить и за особенное удовольствие себе поставляют, – возразил Константин Диомидыч, приятно раскланиваясь на все стороны и прикасаясь толстой, но белой ручкой с ногтями, остриженными треугольником, к превосходно причесанным волосам.

– И Волынцев тоже будет?

– И они-с.

– Так как же, Африкан Семеныч, – продолжала Дарья Михайловна, обращаясь к Пигасову, – по-вашему, все барышни неестественны?

У Пигасова губы скрутились набок, и он нервически задергал локтем.

– Я говорю, – начал он неторопливым голосом – он в самом сильном припадке ожесточения говорил медленно и отчетливо, – я говорю, что барышни вообще – о присутствующих, разумеется, я умалчиваю…

– Но это не мешает вам и о них думать, – перебила Дарья Михайловна.

– Я о них умалчиваю, – повторил Пигасов. – Все барышни вообще неестественны в высшей степени – неестественны в выражении чувств своих. Испугается ли, например, барышня, обрадуется ли чему, или опечалится, она непременно сперва придаст телу своему какой-нибудь эдакий изящный изгиб (и Пигасов пребезобразно выгнул свой стан и оттопырил руки) и потом уже крикнет: ах! или засмеется, или заплачет. Мне, однако (и тут Пигасов самодовольно улыбнулся), удалось-таки добиться однажды истинного, неподдельного выражения ощущения от одной замечательно неестественной барышни!

– Каким это образом?

Глаза Пигасова засверкали.

– Я ее хватил в бок осиновым колом сзади. Она как взвизгнет, а я ей: браво! браво! Вот это голос природы, это был естественный крик. Вы и вперед всегда так поступайте.

Все в комнате засмеялись.

– Что вы за пустяки говорите, Африкан Семеныч! – воскликнула Дарья Михайловна. – Поверю ли я, что вы станете девушку толкать колом в бок!

– Ей-богу, колом, пребольшим колом, вроде тех, которые употребляются при защите крепостей.

– Mais c'est une horreur ce que vous dites l?, monsieur,[2 - Да ведь это ужас, что вы говорите, сударь (фр.).] – возопила m-lle Boncourt, грозно посматривая на расхохотавшихся детей.

– Да не верьте ему, – промолвила Дарья Михайловна, – разве вы его не знаете?

Но негодующая француженка долго не могла успокоиться и все что-то бормотала себе под нос.

– Вы можете мне не верить, – продолжал хладнокровным голосом Пигасов, – но я утверждаю, что я сказал сущую правду. Кому ж это знать, коли не мне? После этого вы, пожалуй, также не поверите, что наша соседка Чепузова, Елена Антоновна, сама, заметьте, сама, мне рассказала, как она уморила своего родного племянника?

– Вот еще выдумали!

– Позвольте, позвольте! Выслушайте и судите сами. Заметьте, я на нее клеветать не желаю, я ее даже люблю, насколько, то есть, можно любить женщину; у ней во всем доме нет ни одной книги, кроме календаря, и читать она не может иначе как вслух – чувствует от этого упражнения испарину и жалуется

потом, что у ней глаза пупом полезли… Словом, женщина она хорошая, и горничные у ней толстые. Зачем мне на нее клеветать?

– Ну! – заметила Дарья Михайловна, – взобрался Африкан Семеныч на своего конька – теперь не слезет с него до вечера.

– Мой конек… А у женщин их целых три, с которых они никогда не слезают, – разве когда спят.

– Какие же это три конька?

– Попрек, намек и упрек.

– Знаете ли что, Африкан Семеныч, – начала Дарья Михайловна, – вы недаром так озлоблены на женщин. Какая-нибудь, должно быть, вас…

– Обидела, вы хотите сказать? – перебил ее Пигасов.

Дарья Михайловна немного смутилась; она вспомнила о несчастном браке Пигасова… и только головой кивнула.

– Меня одна женщина, точно, обидела, – промолвил Пигасов, – хоть и добрая была, очень добрая…

– Кто же это такая?

– Мать моя, – произнес Пигасов, понизив голос.

– Ваша мать? Чем же она могла вас обидеть?

– А тем, что родила…

Дарья Михайловна наморщила брови.

– Мне кажется, – заговорила она, – разговор наш принимает невеселый оборот… Constantin, сыграйте нам новый этюд Тальберга… Авось звуки музыки укротят

Африкана Семеныча. Орфей укрощал же диких зверей.

Константин Диомидыч сел за фортепьяно и сыграл этюд весьма удовлетворительно. Сначала Наталья Алексеевна слушала со вниманием, потом опять принялась за работу.

– Merci, c’est charmant,[3 - Благодарю, это очаровательно (фр.).] – промолвила Дарья Михайловна, – люблю Тальберга. Il est si distingue.[4 - Он так изыскан (фр.).] Что вы задумались, Африкан Семеныч?

– Я думаю, – начал медленно Пигасов, – что есть три разряда эгоистов: эгоисты, которые сами живут и жить дают другим; эгоисты, которые сами живут и не дают жить другим; наконец, эгоисты, которые и сами не живут и другим не дают… Женщины большею частью принадлежат к третьему разряду.

– Как это любезно! Одному я только удивляюсь, Африкан Семеныч, какая у вас самоуверенность в суждениях: точно вы никогда ошибиться не можете.

– Кто говорит! и я ошибаюсь; мужчина тоже может ошибаться. Но знаете ли, какая разница между ошибкою нашего брата и ошибкою женщины? Не знаете? Вот какая: мужчина может, например, сказать, что дважды два – не четыре, а пять или три с половиною; а женщина скажет, что дважды два – стеариновая свечка.

– Я уже это, кажется, слышала от вас… Но позвольте спросить, какое отношение имеет ваша мысль о трех родах эгоистов к музыке, которую вы сейчас слышали?

– Никакого, да я и не слушал музыки.

– Ну, ты, батюшка, я вижу, неисправим, хоть брось, – возразила Дарья Михайловна, слегка искажая грибоедовский стих. – Что же вы любите, коли вам и музыка не нравится? литературу, что ли?

– Я литературу люблю, да только не нынешнюю.

– Почему?

– А вот почему. Я недавно переезжал через Оку на пароме с каким-то барином. Паром пристал к крутому месту: надо было втаскивать экипажи на руках. У барина была коляска претяжелая. Пока перевозчики надсаживались, втаскивая коляску на берег, барин так кряхтел, стоя на пароме, что даже жалко его становилось… Вот, подумал я, новое применение системы разделения работ! Так и нынешняя литература: другие везут, дело делают, а она кряхтит.

Дарья Михайловна улыбнулась.

– И это называется воспроизведением современного быта, – продолжал неугомонный Пигасов, – глубоким сочувствием к общественным вопросам и еще как-то… Ох, уж эти мне громкие слова!

– А вот женщины, на которых вы так нападаете, – те по крайней мере не употребляют громких слов.

Пигасов пожал плечом.

– Не употребляют, потому что не умеют.

Дарья Михайловна слегка покраснела.

– Вы начинаете дерзости говорить, Африкан Семеныч! – заметила она с принужденной улыбкой.

Все затихло в комнате.

– Где это Золотоноша? – спросил вдруг один из мальчиков у Басистова.

– В Полтавской губернии, мой милейший, – подхватил Пигасов, – в самой Хохландии. (Он обрадовался случаю переменить разговор.) – Вот мы толковали о литературе, – продолжал он, – если б у меня были лишние деньги, я бы сейчас сделался малороссийским поэтом.

– Это что еще? хорош поэт! – возразила Дарья Михайловна, – разве вы знаете по-малороссийски?

– Нимало; да оно и не нужно.

– Как не нужно?

– Да так же, не нужно. Стоит только взять лист бумаги и написать наверху: Дума; потом начать так: Гой, ты доля моя, доля! или: Седе казачина Наливайко на кургане!, а там: По-пид горою, по-пид зеленою, грае, грае воропае, гоп! гоп! или что-нибудь в этом роде. И дело в шляпе. Печатай и издавай. Малоросс прочтет, подопрет рукою щеку и непременно заплачет, – такая чувствительная душа!

– Помилуйте! – воскликнул Басистов. – Что вы это такое говорите? Это ни с чем не сообразно. Я жил в Малороссии, люблю ее и язык ее знаю… «грае, грае воропае» – совершенная бессмыслица.

– Может быть, а хохол все-таки заплачет. Вы говорите: язык… Да разве существует малороссийский язык? Я попросил раз одного хохла перевести следующую первую попавшуюся мне фразу: грамматика есть искусство правильно читать и писать. Знаете, как он это перевел: храматыка е выскусьтво правильно чытаты ы пысаты… Что ж, это язык, по-вашему? самостоятельный язык? Да скорей, чем с этим согласиться, я готов позволить лучшего своего друга истолочь в ступе…

Басистов хотел возражать.

– Оставьте его, – промолвила Дарья Михайловна, – ведь вы знаете, от него, кроме парадоксов, ничего не услышишь.

Пигасов язвительно улыбнулся. Лакей вошел и доложил о приезде Александры Павловны и ее брата.

Дарья Михайловна встала навстречу гостям.

– Здравствуйте, Alexandrine! – заговорила она, подходя к ней, – как вы умно сделали, что приехали… Здравствуйте, Сергей Павлыч!

Волынцев пожал Дарье Михайловне руку и подошел к Наталье Алексеевне.

– А что, этот барон, ваш новый знакомый, приедет сегодня? – спросил Пигасов.

– Да, приедет.

– Он, говорят, великий философ: так Гегелем и брызжет.

Дарья Михайловна ничего не отвечала, усадила Александру Павловну на кушетку и сама поместилась возле нее.

– Философия, – продолжал Пигасов, – высшая точка зрения! Вот еще смерть моя – эти высшие точки зрения. И что можно увидать сверху? Небось, коли захочешь лошадь купить, не с каланчи на нее смотреть станешь!

– Вам этот барон хотел привезти статью какую-то? – спросила Александра Павловна.

– Да, статью, – отвечала с преувеличенною небрежностью Дарья Михайловна, – об отношениях торговли к промышленности в России… Но не бойтесь: мы ее здесь читать не станем… я вас не за тем позвала. Le baron est aussi aimable que savant.[5 - Барон столь же любезен, сколь и учен (фр.).] И так хорошо говорит по-русски! C’est un vrai torrent… il vous entraine.[6 - Это настоящий поток… он так и увлекает вас (фр.).]

– Так хорошо по-русски говорит, – проворчал Пигасов, – что заслуживает французской похвалы.

– Поворчите еще, Африкан Семеныч, поворчите… Это очень идет к вашей взъерошенной прическе… Однако что же он не едет? Знаете ли что, messieurs et mesdames, – прибавила Дарья Михайловна, взглянув кругом, – пойдемте в сад… До обеда еще около часу осталось, а погода славная…

Все общество поднялось и отправилось в сад.

Сад у Дарьи Михайловны доходил до самой реки. В нем было много старых липовых аллей, золотисто-темных и душистых, с изумрудными просветами по концам, много беседок из акаций и сирени.

Волынцев вместе с Натальей и m-lle Boncourt забрались в самую глушь сада. Волынцев шел рядом с Натальей и молчал. M-lle Boncourt следовала немного поодаль.

– Что же вы делали сегодня? – спросил наконец Волынцев, подергивая концы своих прекрасных темно-русых усов.

Он чертами лица очень походил на сестру; но в выражении их было меньше игры и жизни, и глаза его, красивые и ласковые, глядели как-то грустно.

– Да ничего, – отвечала Наталья, – слушала, как Пигасов бранится, вышивала по канве, читала.

– А что такое вы читали?

– Я читала… историю крестовых походов, – проговорила Наталья с небольшой запинкой.

Волынцев посмотрел на нее.

– А! – произнес он наконец, – это должно быть интересно.

Он сорвал ветку и начал вертеть ею по воздуху. Они прошли еще шагов двадцать.

– Что это за барон, с которым ваша матушка познакомилась? – спросил опять Волынцев.

– Камер-юнкер, приезжий; maman его очень хвалит.

– Ваша матушка способна увлекаться.

– Это доказывает, что она еще очень молода сердцем, – заметила Наталья.

– Да. Я скоро пришлю вам вашу лошадь. Она уже почти совсем выезжена. Мне хочется, чтобы она с места поднимала в галоп, и я этого добьюсь.

– Merci… Однако мне совестно. Вы сами ее выезжаете… это, говорят, очень трудно…

– Чтобы доставить вам малейшее удовольствие, вы знаете, Наталья Алексеевна, я готов… я… и не такие пустяки…

Волынцев замялся.

Наталья дружелюбно взглянула на него и еще раз сказала: merci.

– Вы знаете, – продолжал Сергей Павлыч после долгого молчания, – что нет такой вещи… Но к чему я это говорю! ведь вы всё знаете.

В это мгновение в доме прозвенел колокол.

– Ah! la cloche du d?ner! – воскликнула m-lle Bon-court. – Rentrons.[7 - Ах! Звонят к обеду! Вернемся (фр.).]

«Quel dommage, – подумала про себя старая француженка, взбираясь на ступеньки балкона вслед за Волынцевым и Натальей, – quel dommage que ce charmant garcon ait si peu de ressources dans la conversation»,[8 - «Как жаль, что этот очаровательный молодой человек так ненаходчив в разговоре» (фр.).] – что по-русски можно так перевести: ты, мой милый, мил, но плох немножко.

Барон к обеду не приехал. Его прождали с полчаса.

Разговор за столом не клеился. Сергей Павлыч только посматривал на Наталью, возле которой сидел, и усердно наливал ей воды в стакан. Пандалевский тщетно старался занять соседку свою, Александру Павловну: он весь закипал сладостью, а она чуть не зевала.

Басистов катал шарики из хлеба и ни о чем не думал; даже Пигасов молчал и, когда Дарья Михайловна заметила ему, что он очень нелюбезен сегодня, угрюмо ответил: «Когда же я бываю любезным? Это не мое дело… – и, усмехнувшись горько, прибавил: – Потерпите маленько. Ведь я квас, du prosto? русский квас, а вот ваш камер-юнкер…»

– Браво! – воскликнула Дарья Михайловна. – Пигасов ревнует, заранее ревнует!

Но Пигасов ничего не ответил ей и только посмотрел исподлобья.

Пробило семь часов, и все опять собрались в гостиную.

– Видно, не будет, – сказала Дарья Михайловна.

Но вот раздался стук экипажа, небольшой тарантас въехал на двор, и через несколько мгновений лакей вошел в гостиную и подал Дарье Михайловне письмо на серебряном блюдечке. Она пробежала его до конца и, обратясь к лакею, спросила:

– А где же господин, который привез это письмо?

– В экипаже сидит-с. Прикажете принять-с?

– Проси.

Лакей вышел.

– Вообразите, какая досада, – продолжала Дарья Михайловна, – барон получил предписание тотчас вернуться в Петербург. Он прислал мне свою статью с одним господином Рудиным, своим приятелем. Барон хотел мне его представить, – он очень его хвалил. Но как это досадно! Я надеялась, что барон поживет здесь…

– Дмитрий Николаевич Рудин, – доложил лакей.

III

Вошел человек лет тридцати пяти, высокого роста, несколько сутуловатый, курчавый, смуглый, с лицом неправильным, но выразительным и умным, с жидким блеском в быстрых темно-синих глазах, с прямым широким носом и

красиво очерченными губами. Платье на нем было не ново и узко, словно он из него вырос.

Он проворно подошел к Дарье Михайловне и, поклонясь коротким поклоном, сказал ей, что он давно желал иметь честь представиться ей и что приятель его, барон, очень сожалел о том, что не мог проститься лично.

Тонкий звук голоса Рудина не соответствовал его росту и его широкой груди.

– Садитесь… очень рада, – промолвила Дарья Михайловна и, познакомив его со всем обществом, спросила, здешний ли он, или заезжий.

– Мое имение в Т…ой губернии, – отвечал Рудин, держа шляпу на коленях, – а здесь я недавно. Я приехал по делу и поселился пока в вашем уездном городе.

– У кого?

– У доктора. Он мой старинный товарищ по университету.

– А! у доктора… Его хвалят. Он, говорят, свое дело разумеет. А с бароном вы давно знакомы?

– Я нынешней зимой в Москве с ним встретился и теперь провел у него около недели.

– Он очень умный человек – барон.

– Да-с.

Дарья Михайловна понюхала узелок носового платка, напитанный одеколоном.

– Вы служите? – спросила она.

– Кто? я-с?

– Да.

– Нет… Я в отставке.

Наступило небольшое молчание. Общий разговор возобновился.

– Позвольте полюбопытствовать, – начал Пигасов, обратясь к Рудину, – вам известно содержание статьи, присланной господином бароном?

– Известно.

– Статья эта трактует об отношениях торговли… или нет, бишь, промышленности к торговле, в нашем отечестве… Так, кажется, вы изволили выразиться, Дарья Михайловна?

– Да, она об этом, – проговорила Дарья Михайловна и приложила руку ко лбу.

– Я, конечно, в этих делах судья плохой, – продолжал Пигасов, – но я должен сознаться, что мне самое заглавие статьи кажется чрезвычайно… как бы это сказать поделикатнее?.. чрезвычайно темным и запутанным.

– Почему же оно вам так кажется?

Пигасов усмехнулся и посмотрел вскользь на Дарью Михайловну.

– А вам оно ясно? – проговорил он, снова обратив свое лисье личико к Рудину.

– Мне? Ясно.

– Гм… Конечно, это вам лучше знать.

– У вас голова болит? – спросила Александра Павловна Дарью Михайловну.

– Нет. Это у меня так… C’est nerveux.[9 - Это нервное (фр.).]

– Позвольте полюбопытствовать, – заговорил опять носовым голоском Пигасов, – ваш знакомец, господин барон Муффель… так, кажется, их зовут?

– Точно так.

– Господин барон Муффель специально занимается политической экономией или только так, посвящает этой интересной науке часы досуга, остающегося среди светских удовольствий и занятий по службе?

Рудин пристально посмотрел на Пигасова.

– Барон в этом деле дилетант, – отвечал он, слегка краснея, – но в его статье много справедливого и любопытного.

– Не могу спорить с вами, не зная статьи… Но, смею спросить, сочинение вашего приятеля, барона Муффеля, вероятно, более придерживается общих рассуждений, нежели фактов?

– В нем есть и факты и рассуждения, основанные на фактах.

– Так-с, так-с. Доложу вам, по моему мнению… а я могу-таки, при случае, свое слово молвить; я три года в Дерпте выжил… все эти так называемые общие рассуждения, гипотезы там, системы… извините меня, я провинциал, правду-матку режу прямо… никуда не годятся. Это все одно умствование – этим только людей морочат. Передавайте, господа, факты, и будет с вас.

– В самом деле! – возразил Рудин. – Ну, а смысл фактов передавать следует?

– Общие рассуждения! – продолжал Пигасов, – смерть моя эти общие рассуждения, обозрения, заключения! Все это основано на так называемых убеждениях; всякий толкует о своих убеждениях и еще уважения к ним требует, носится с ними… Эх!

И Пигасов потряс кулаком в воздухе. Пандалевский рассмеялся.

– Прекрасно! – промолвил Рудин, – стало быть, по-вашему, убеждений нет?

– Нет – и не существует.

– Это ваше убеждение?

– Да.

– Как же вы говорите, что их нет? Вот уже одно, на первый случай.

Все в комнате улыбнулись и переглянулись.

– Позвольте, позвольте, однако… – начал было Пигасов.

Но Дарья Михайловна захлопала в ладоши, воскликнула: «Браво, браво, разбит Пигасов, разбит!» – и тихонько вынула шляпу из рук Рудина.

– Погодите радоваться, сударыня, успеете! – заговорил с досадой Пигасов. – Недостаточно сказать с видом превосходства острое словцо: надобно доказать, опровергнуть… Мы отбились от предмета спора.

– Позвольте, – хладнокровно заметил Рудин, – дело очень просто. Вы не верите в пользу общих рассуждений, вы не верите в убеждения…

– Не верю, не верю, ни во что не верю.

– Очень хорошо. Вы скептик.

– Не вижу необходимости употреблять такое ученое слово. Впрочем…

– Не перебивайте же! – вмешалась Дарья Михайловна.

«Кусь, кусь, кусь!» – сказал про себя в это мгновенье Пандалевский и весь осклабился.

– Это слово выражает мою мысль, – продолжал Рудин. – Вы его понимаете: отчего же не употреблять его? Вы ни во что не верите… Почему же верите вы в факты?

– Как почему? вот прекрасно! Факты – дело известное, всякий знает, что такое факты… Я сужу о них по опыту, по собственному чувству.

– Да разве чувство не может обмануть вас! Чувство вам говорит, что солнце вокруг земли ходит… или, может быть, вы не согласны с Коперником? Вы и ему не верите?

Улыбка опять промчалась по всем лицам, и глаза всех устремились на Рудина. «А он человек не глупый», – подумал каждый.

– Вы всё изволите шутить, – заговорил Пигасов. – Конечно, это очень оригинально, но к делу нейдет.

– В том, что я сказал до сих пор, – возразил Рудин, – к сожалению, слишком мало оригинального. Это все очень давно известно и тысячу раз было говорено. Дело не в том…

– А в чем же? – спросил не без наглости Пигасов. В споре он сперва подтрунивал над противником, потом становился грубым, а наконец дулся и умолкал.

– Вот в чем, – продолжал Рудин, – я, признаюсь, не могу не чувствовать искреннего сожаления, когда умные люди при мне нападают…

– На системы? – перебил Пигасов.

– Да, пожалуй, хоть на системы. Что вас пугает так это слово? Всякая система основана на знании основных законов, начал жизни…

– Да их узнать, открыть их нельзя… помилуйте!

– Позвольте. Конечно, не всякому они доступны, и человеку свойственно ошибаться. Однако вы, вероятно, согласитесь со мною, что, например, Ньютон открыл хотя некоторые из этих основных законов. Он был гений, положим; но открытия гениев тем и велики, что становятся достоянием всех. Стремление к отысканию общих начал в частных явлениях есть одно из коренных свойств человеческого ума, и вся наша образованность…

– Вот вы куда-с! – перебил растянутым голосом Пигасов. – Я практический человек и во все эти метафизические тонкости не вдаюсь и не хочу вдаваться.

– Прекрасно! Это в вашей воле. Но заметьте, что самое ваше желание быть исключительно практическим человеком есть уже своего рода система, теория…

– Образованность! говорите вы, – подхватил Пигасов, – вот еще чем удивить вздумали! Очень нужна она, эта хваленая образованность! Гроша медного не дам я за вашу образованность!

– Однако как вы дурно спорите, Африкан Семеныч! – заметила Дарья Михайловна, внутренне весьма довольная спокойствием и изящной учтивостью нового своего знакомца. – «C’est un homme comme il faut,[10 - Это светский человек (фр.).] – подумала она, с доброжелательным вниманием взглянув в лицо Рудину. – Надо его приласкать». Эти последние слова она мысленно произнесла по-русски.

– Образованность я защищать не стану, – продолжал, помолчав немного, Рудин, – она не нуждается в моей защите. Вы ее не любите… у всякого свой вкус. Притом, это завело бы нас слишком далеко. Позвольте вам только напомнить старинную поговорку: «Юпитер, ты сердишься: стало быть, ты виноват». Я хотел сказать, что все эти нападения на системы, на общие рассуждения и т. д. потому особенно огорчительны, что вместе с системами люди отрицают вообще знание, науку и веру в нее, стало быть и веру в самих себя, в свои силы. А людям нужна эта вера: им нельзя жить одними впечатлениями, им грешно бояться мысли и не доверять ей. Скептицизм всегда отличался бесплодностью и бессилием…

– Это всё слова! – пробормотал Пигасов.

– Может быть. Но позвольте вам заметить, что, говоря: «Это всё слова!» – мы часто сами желаем отделаться от необходимости сказать что-нибудь подельнее одних слов.

– Чего-с? – спросил Пигасов и прищурил глаза.

– Вы поняли, что я хотел сказать вам, – возразил с невольным, но тотчас сдержанным нетерпением Рудин. – Повторяю, если у человека нет крепкого начала, в которое он верит, нет почвы, на которой он стоит твердо, как может он дать себе отчет в потребностях, в значении, в будущности своего народа? как может он знать, что он должен сам делать, если…

– Честь и место! – отрывисто проговорил Пигасов, поклонился и отошел в сторону, ни на кого не глядя.

Рудин посмотрел на него, усмехнулся слегка и умолк.

– Ага! обратился в бегство! – заговорила Дарья Михайловна. – Не беспокойтесь, Дмитрий… Извините, – прибавила она с приветливой улыбкой, – как вас по батюшке?

– Николаич.

– Не беспокойтесь, любезный Дмитрий Николаич! Он никого из нас не обманул. Он желает показать вид, что не хочет больше спорить… Он чувствует, что не может спорить с вами. А вы лучше подсядьте-ка к нам поближе да поболтаемте.

Рудин пододвинул свое кресло.

– Как это мы до сих пор не познакомились? – продолжала Дарья Михайловна. – Это меня удивляет… Читали ли вы эту книгу? C’est de Tocqueville, vous savez?[11 - Это Токвиля, вы знаете? (фр.)]

И Дарья Михайловна протянула Рудину французскую брошюру.

Рудин взял тоненькую книжонку в руки, перевернул в ней несколько страниц и, положив ее обратно на стол, отвечал, что собственно этого сочинения г. Токвиля он не читал, но часто размышлял о затронутом им вопросе. Разговор завязался. Рудин сперва как будто колебался, не решался высказаться, не находил слов, но наконец разгорелся и заговорил. Через четверть часа один его голос раздавался в комнате. Все столпились в кружок около него.

Один Пигасов оставался в отдалении, в углу, подле камина. Рудин говорил умно, горячо, дельно; выказал много знания, много начитанности. Никто не ожидал найти в нем человека замечательного… Он был так посредственно одет, о нем так мало ходило слухов. Всем непонятно казалось и странно, каким это образом вдруг, в деревне, мог появиться такой умница. Тем более удивил он и, можно сказать, очаровал всех, начиная с Дарьи Михайловны… Она гордилась своей находкой и уже заранее думала о том, как она выведет Рудина в свет. В первых

ее впечатлениях было много почти детского, несмотря на ее года. Александра Павловна, правду сказать, поняла мало изо всего, что говорил Рудин, но была очень удивлена и обрадована; брат ее тоже дивился; Пандалевский наблюдал за Дарьей Михайловной и завидовал; Пигасов думал: «Дам пятьсот рублей – еще лучше соловья достану!»… Но больше всех были поражены Басистов и Наталья. У Басистова чуть дыханье не захватило; он сидел все время с раскрытым ртом и выпученными глазами – и слушал, слушал, как отроду не слушал никого, а у Натальи лицо покрылось алой краской, и взор ее, неподвижно устремленный на Рудина, и потемнел и заблистал…

– Какие у него славные глаза! – шепнул ей Волынцев.

– Да, хороши.

– Жаль только, что руки велики и красны.

Наталья ничего не отвечала.

Подали чай. Разговор стал более общим, но уже по одной внезапности, с которой все замолкали, лишь только Рудин раскрывал рот, можно было судить о силе произведенного им впечатления. Дарье Михайловне вдруг захотелось подразнить Пигасова. Она подошла к нему и вполголоса проговорила: «Что же вы молчите и только улыбаетесь язвительно? Попытайтесь-ка, схватитесь с ним опять», – и, не дождавшись его ответа, подозвала рукою Рудина.

– Вы про него еще одной вещи не знаете, – сказала она ему, указывая на Пигасова, – он ужасный ненавистник женщин, беспрестанно нападает на них; пожалуйста, обратите его на путь истины.

Рудин посмотрел на Пигасова… поневоле свысока: он был выше его двумя головами. Пигасова чуть не покоробило со злости, и желчное лицо его побледнело.

– Дарья Михайловна ошибается, – начал он неверным голосом, – я не на одних женщин нападаю: я до всего человеческого рода не большой охотник.

– Что же вам могло дать такое дурное мнение о нем? – спросил Рудин.

Пигасов глянул ему прямо в глаза.

– Вероятно, изучение собственного сердца, в котором я с каждым днем открываю все более и более дряни. Я сужу о других по себе. Может быть, это и несправедливо, и я гораздо хуже других; но что прикажете делать? привычка!

– Я вас понимаю и сочувствую вам, – возразил Рудин. – Какая благородная душа не испытала жажды самоуничижения? Но не следует останавливаться на этом безвыходном положении.

– Покорно благодарю за выдачу моей душе аттестата в благородстве, – возразил Пигасов, – а положение мое – ничего, недурно, так что если даже есть из него выход, то Бог с ним! я его искать не стану.

– Но это значит – извините за выражение – предпочитать удовлетворение своего самолюбия желанию быть и жить в истине…

– Да еще бы! – воскликнул Пигасов, – самолюбие – это и я понимаю, и вы, надеюсь, понимаете, и всякий понимает; а истина – что такое истина? Где она, эта истина?

– Вы повторяетесь, предупреждаю вас, – заметила Дарья Михайловна.

Пигасов поднял плечи.

– Так что же за беда? Я спрашиваю: где истина? Даже философы не знают, что она такое. Кант говорит, вот она, мол, что; а Гегель – нет, врешь, она вот что.

– А вы знаете, что говорит о ней Гегель? – спросил, не возвышая голоса, Рудин.

– Я повторяю, – продолжал разгорячившийся Пигасов, – что я не могу понять, что такое истина. По-моему, ее вовсе и нет на свете, то есть, слово-то есть, да самой вещи нету.

– Фи! фи! – воскликнула Дарья Михайловна, – как вам не стыдно это говорить, старый вы грешник! Истины нет? Для чего же жить после этого на свете?

– Да уж я думаю, Дарья Михайловна, – возразил с досадой Пигасов, – что вам, во всяком случае, легче было бы жить без истины, чем без вашего повара Степана, который такой мастер варить бульоны! И на что вам истина, скажите на милость? Ведь чепчика из нее сшить нельзя!

– Шутка не возражение, – заметила Дарья Михайловна, – особенно когда сбивается на клевету…

– Не знаю, как истина, а правда, видно, глаза колет, – пробормотал Пигасов и с сердцем отошел в сторону.

А Рудин заговорил о самолюбии, и очень дельно заговорил. Он доказывал, что человек без самолюбия ничтожен, что самолюбие – архимедов рычаг, которым землю с места можно сдвинуть, но что в то же время тот только заслуживает название человека, кто умеет овладеть своим самолюбием, как всадник конем, кто свою личность приносит в жертву общему благу…

– Себялюбие, – так заключил он, – самоубийство. Себялюбивый человек засыхает словно одинокое, бесплодное дерево; но самолюбие, как деятельное стремление к совершенству, есть источник всего великого… Да! человеку надо надломить упорный эгоизм своей личности, чтобы дать ей право себя высказывать!

– Не можете ли вы одолжить мне карандашика? – обратился Пигасов к Басистову.

Басистов не тотчас понял, что у него спрашивал Пигасов.

– Зачем вам карандаш? – проговорил он наконец.

– Хочу записать вот эту последнюю фразу г. Рудина. Не записав, позабудешь, чего доброго! А согласитесь сами, такая фраза все равно что большой шлем в ералаши.

– Есть вещи, над которыми смеяться и трунить грешно, Африкан Семеныч! – с жаром проговорил Басистов и отвернулся от Пигасова.

Между тем Рудин подошел к Наталье. Она встала: лицо ее выразило замешательство.

Волынцев, сидевший подле нее, тоже встал.

– Я вижу фортепьяно, – начал Рудин мягко и ласково, как путешествующий принц, – не вы ли играете на нем?

– Да, я играю, – проговорила Наталья, – но не очень хорошо. Вот Константин Диомидыч гораздо лучше меня играет.

Пандалевский выставил свое лицо и оскалил зубы.

– Напрасно вы это говорите, Наталья Алексеевна: вы играете нисколько не хуже меня.

– Знаете ли вы «Erlk?nig»[12 - «Лесной царь» (нем.)] Шуберта? – спросил Рудин.

– Знает, знает! – подхватила Дарья Михайловна. – Садитесь, Constantin… А вы любите музыку, Дмитрий Николаич?

Рудин только наклонил слегка голову и провел рукой по волосам, как бы готовясь слушать… Пандалевский заиграл.

Наталья встала возле фортепьяно, прямо напротив Рудина. С первым звуком лицо его приняло прекрасное выражение. Его темно-синие глаза медленно блуждали, изредка останавливаясь на Наталье. Пандалевский кончил.

Рудин ничего не сказал и подошел к раскрытому окну. Душистая мгла лежала мягкой пеленою над садом; дремотной свежестью дышали близкие деревья. Звезды тихо теплились. Летняя ночь и нежилась и нежила. Рудин поглядел в темный сад – и обернулся.

– Эта музыка и эта ночь, – заговорил он, – напомнили мне мое студенческое время в Германии: наши сходки, наши серенады…

– А вы были в Германии? – спросила Дарья Михайловна.

– Я провел год в Гейдельберге и около года в Берлине.

– И одевались студентом? Говорят, они там как-то особенно одеваются.

– В Гейдельберге я носил большие сапоги со шпорами и венгерку со шнурками и волосы отрастил до самых плеч… В Берлине студенты одеваются, как все люди.

– Расскажите нам что-нибудь из вашей студенческой жизни, – промолвила Александра Павловна.

Рудин начал рассказывать. Рассказывал он не совсем удачно. В описаниях его недоставало красок. Он не умел смешить. Впрочем, Рудин от рассказов своих заграничных похождений скоро перешел к общим рассуждениям о значении просвещения и науки, об университетах и жизни университетской вообще. Широкими и смелыми чертами набросал он громадную картину. Все слушали его с глубоким вниманием. Он говорил мастерски, увлекательно, не совсем ясно… но самая эта неясность придавала особенную прелесть его речам.

Обилие мыслей мешало Рудину выражаться определительно и точно. Образы сменялись образами; сравнения, то неожиданно смелые, то поразительно верные, возникали за сравнениями. Не самодовольной изысканностью опытного говоруна – вдохновением дышала его нетерпеливая импровизация. Он не искал слов: они сами послушно и свободно приходили к нему на уста, и каждое слово, казалось, так и лилось прямо из души, пылало всем жаром убеждения. Рудин владел едва ли не высшей тайной – музыкой красноречия. Он умел, ударяя по одним струнам сердец, заставлять смутно звенеть и дрожать все другие. Иной слушатель, пожалуй, и не понимал в точности, о чем шла речь; но грудь его высоко поднималась, какие-то завесы разверзались перед его глазами, что-то лучезарное загоралось впереди.

Все мысли Рудина казались обращенными в будущее; это придавало им что-то стремительное и молодое… Стоя у окна, не глядя ни на кого в особенности, он говорил – и, вдохновенный общим сочувствием и вниманием, близостью молодых женщин, красотою ночи, увлеченный потоком собственных ощущений, он возвысился до красноречия, до поэзии… Самый звук его голоса, сосредоточенный и тихий, увеличивал обаяние; казалось, его устами говорило что-то высшее, для него самого неожиданное… Рудин говорил о том, что придает вечное значение временной жизни человека.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

м-ль Бонкур (фр.).

2

Да ведь это ужас, что вы говорите, сударь (фр.).

3

Благодарю, это очаровательно (фр.).

4

Он так изыскан (фр.).

5

Барон столь же любезен, сколь и учен (фр.).

6

Это настоящий поток… он так и увлекает вас (фр.).

7

Ах! Звонят к обеду! Вернемся (фр.).

8

«Как жаль, что этот очаровательный молодой человек так ненаходчив в разговоре» (фр.).

9

Это нервное (фр.).

10

Это светский человек (фр.).

11

Это Токвиля, вы знаете? (фр.)

12

«Лесной царь» (нем.)

Купить: https://tellnovel.com/ivan-turgenev/rudin-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити